

— Как же у них празднуют свадьбу? — встряла снова барышня, сдув огненное кольцо волос со лба.

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то из Корана; потом дарят молодых и всех их родственников, едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка, и всегда один какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честную компанию; потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-нашему сказать, бал. Бедный старичишка бренчит на трехструнной... забыл, как по-ихнему ну, да вроде нашей балалайки. Девки и молодые ребята становятся в две шеренги одна против другой, хлопают в ладоши и поют. Вот выходит одна девка и один мужчина на середину и начинают говорить друг другу стихи нараспев, что попало, а остальные подхватывают хором. Мы с Каремским сидели на почетном месте, и вот к нему подошёл меньшой сын хозяина, юнец лет шестнадцати, и пропел ему... как бы сказать?... вроде комплимента.

— А что ж такое он пропел, не помните ли?

— Да, кажется, вот так: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними; только не расти, не цвести ему в нашем саду». Каремской встал, поклонился ему, приложив руку ко лбу и сердцу, и просил меня отвечать ему, я хорошо знаю по-ихнему и перевел его ответ.

Когда он от нас отошёл, тогда я шепнул Эрасту Николаичу: «Ну что, каков?» — «Прелесть! — отвечал он. — А как его зовут?» — «Его зовут Рамазаном», — отвечал я.

И точно, он была хорош: высокий, стройный, да крепкий, глаза черные, как у горной серны, так и заглядывали нам в душу. Каремской в задумчивости не сводил с него глаз, и он частенько исподлобья на него посматривал. Только не один Каремской любовался хорошеньким князем: из угла комнаты на него смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомого Паршана. Он, знаете, был не то, чтоб мирной, не то, чтоб немирной. Подозрений на него было много, хоть он ни в какой шалости не был замечен. Бывало, он приводил к нам в крепость баранов и продавал дешево, только никогда не торговался: что запросит, давай, — хоть зарежь, не уступит. Говорили про него, что он любит таскаться на Кубань с абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья: тонкий, сухой, широкоплечий... А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, — и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаром ему завидовали все наездники и не раз пытались ее украсть, только не удавалось. Как теперь гляжу на эту лошадь: вороная, как смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже, чем у Рамазана; а какая сила! скачи хоть на пятьдесят верст; а уж выезжена — как собака бежит за хозяином, голос даже его знала! Бывало, он ее никогда и не привязывает. Уж такая разбойничья лошадь!..

В этот вечер Паршан был угрюмее, чем когда-нибудь, и я заметил, что у него под бешметом надета кольчуга. «Недаром на нем эта кольчуга, — подумал я, — уж он, верно, что-нибудь замышляет».

Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям.

Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: «Якши тхе, чек якши!»

Пробираюсь вдоль забора и вдруг слышу голоса; один голос я тотчас узнал: это был повеса Бер, сын нашего хозяина; другой говорил реже и тише. «О чем они тут толкуют? — подумал я, — уж не о моей ли лошадке?» Вот присел я у забора и стал прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шум песен и говор голосов, вылетая из сакли, заглушали любопытный для меня разговор.

— Славная у тебя лошадь! — говорил Бер, — если бы я был хозяин в доме и имел табун в триста кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Паршан!

«А! Паршан!» — подумал я и вспомнил кольчугу.

— Да, — отвечал Паршан после некоторого молчания, — в целой Кабарде не найдешь такой. Раз, — это было за Тереком, — я ездил с абреками отбивать русские табуны; нам не посчастливилось, и мы рассыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; уж я слышал за собою крики гяуров, и передо мною был густой лес. Прилег я на седло, поручил себе аллаху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети. Как птица нырнул он между ветвями; острые колючки рвали мою одежду, сухие сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгал через

пни, разрывал кусты грудью. Лучше было бы мне его бросить у опушки и скрыться в лесу пешком, да жаль было с ним расстаться, — и пророк вознаградил меня. Несколько пуль провизжало над моей головою; я уж слышал, как спешившиеся казаки бежали по следам... Вдруг передо мною рывина глубокая; скаун мой призадумался — и прыгнул. Задние его копыта оборвались с противного берега, и он повис на передних ногах; я бросил поводья и полетел в овраг; это спасло моего коня: он выскочил. Казаки все это видели, только ни один не спустился меня искать: они, верно, думали, что я убится до смерти, и я слышал, как они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; пополз я по густой траве вдоль по оврагу, — смотрю: лес кончился, несколько казаков выезжают из него на поляну, и вот выскакивает прямо к ним мой Карагез; все кинулись за ним с криком; долго, долго они за ним гонялись, особенно один раз два чуть-чуть не накинул ему на шею аркана; я задрожал, опустил глаза и начал молиться. Через несколько мгновений поднимаю их — и вижу: мой Карагез летит, развевая хвост, вольный как ветер, а гяуры далеко один за другим тянутся по степи на измученных конях. Валлах! это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидел в своем овраге. Вдруг, что ж ты думаешь, Бер? во мраке слышу, бегают по берегу оврага конь, фыркает, ржет и бьет копытами о землю; я узнал голос моего Карагеза; это был он, мой товарищ!.. С тех пор мы не разлучались.

И слышно было, как он трепал рукою по гладкой шее своего скакуна, давая ему разные нежные названия.

— Если б у меня был табун в тысячу кобыл, — сказал Бер, — то отдал бы тебе весь за твоего Карагеза.

— Йок, не хочу, — отвечал равнодушно Паршан.

— Послушай, Паршан, — говорил, ласкаясь к нему, Бер, — ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы; отдай мне свою лошадь, и я сделаю все, что ты хочешь, украду для тебя у отца лучшую его винтовку или шашку, что только пожелаешь, — а шашка его настоящая гурда: приложи лезвием к руке, сама в тело вопьется; а кольчуга — такая, как твоя, нипочем.

Паршан молчал.

— В первый раз, как я увидел твоего коня, — продолжал Бер, когда он под тобой крутился и прыгал, раздувая ноздри, и кремни брызгами летели из-под копыт его, в моей душе сделалось что-то непонятное, и с тех пор все мне опостылело: на лучших скакунов моего отца смотрел я с презрением, стыдно было мне на них показаться, и тоска овладела мной; и, тоскуя, просиживал я на утесе целые дни, и ежеминутно мыслям моим являлся вороной скакун твой с своей стройной поступью, с своим гладким, прямым, как стрела, хребтом; он смотрел мне в глаза своими бойкими глазами, как будто хотел слово вымолвить. Я умру, Паршан, если ты мне не продашь его! — сказал Бер дрожащим голосом.

Мне слышалось, что он заплакал: а надо вам сказать, что Бер был преупрямый мальчишка, и ничем, бывало, у него слез не выбьешь, даже когда он был помоложе.

В ответ на его слезы слышалось что-то вроде смеха.

— Послушай! — сказал твердым голосом Бер, — видишь, я на все решаюсь. Хочешь, я украду для тебя моего брата? Как он пляшет! как поет! а как стреляет птицу! Не бывало такого. юноши и у турецкого падишаха... Хочешь, дождись меня завтра ночью там в ущелье, где бежит поток: я пойду с ним мимо в соседний аул, — и он твой. Неужели не стоит Рамазан твоего скакуна?

Долго, долго молчал Паршан; наконец вместо ответа он затянул старинную песню вполголоса:

Много красавиц в аулах у нас,

Звезды сияют во мраке их глаз.

Сладко любить их, завидная доля;

Но веселей молодецкая воля.

Золото купит четыре жены,

Конь же лихой не имеет цены:

Он и от вихря в степи не отстанет,

Он не изменит, он не обманет.

Напрасно упрашивал его Бер согласиться, и плакал, и льстил ему, и клялся; наконец Паршан нетерпеливо прервал его:

— Поди прочь, безумный мальчишка! Где тебе ездить на моем коне? На первых трех шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни.

— Меня? — крикнул Бер в бешенстве, и железо детского кинжала зазвенело об кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь, и он ударился об плетень так, что плетень зашатался. «Будет потеха!» — подумал я, кинулся в конюшню, взнуздal лошадей наших и вывел их на задний двор. Через две минуты уж в сакле был ужасный гвалт. Вот что случилось: Бер вбежал туда в разорванном бешмете, говоря, что Паршан хотел его зарезать. Все выскочили, схватились за ружья — и пошла потеха! Крик, шум, выстрелы; только Паршан уж был верхом и вертелся среди толпы по улице, как бес, отмахиваясь шашкой.

— Плохое дело в чужом пиру похмелье, — сказал я Эрасту Николаевичу, поймав его за руку, — не лучше ли нам поскорей убраться?

— Да погодите, чем кончится.

— Да уж, верно, кончится худо; у этих азиатов все так: натянулись бузы, и пошла резня! — Мы сели верхом и ускакали домой.

— А что Паршан? — спросила барыня нетерпеливо у штабс-капитана.

— Да что этому народу делается! — отвечал он, допивая стакан чая, — ведь ускользнул!

— И не ранен? — спросила она.

— А бог его знает! Живуци, разбойники! Видал я-с иных в деле, например: ведь весь искомлот, как решето, штыками, а все махает шашкой. — Штабс-капитан после некоторого молчания продолжал, топнув ногою о землю:

— Никогда себе не прощу одного: черт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Эрасту Николаевичу все, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся, — такой хитрый! — а сам задумал кое-что.

— А что такое? Расскажите, пожалуйста.

— Ну уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать

Дня через четыре приезжает Бер в крепость. По обыкновению, он зашел к Эрасту Николаевичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Каремской начал расхваливать лошадь Паршана: уж такая-то она резвая, красивая, словно серна, — ну, просто, по его словам, этакой и в целом мире нет.

Засверкали глазенки у татарчонка, а Каремской будто не замечает; я заговорю о другом, а он, смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь Паршана. Эта история продолжалась всякий раз, как приезжал Бер. Недели три спустя стал я

замечать, что мальчишка бледнеет и сохнет, как бывает от любви в романах-с. Что за диво?..

Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Эраст Николаевич до того его задразнил, что хоть в воду. Раз он ему и скажи:

— Вижу, Бер, что тебе больно понравилась эта лошадь; а не видать тебе ее как своего затылка! Ну, скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы?..

— Все, что он захочет, — отвечал Бер.

— В таком случае я тебе ее достану, только с условием... Поклянись, что ты его исполнишь...

— Клянусь... Клянись и ты!

— Хорошо! Клянусь, ты будешь владеть конем; только за него ты должен отдать мне своего брата, Рамазана: Карагез будет тебе калымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден.

Бер молчал.

— Не хочешь? Ну, как хочешь! Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок: рано тебе ездить верхом...

Бер вспыхнул.

— А наш отец? — сказал он.

— Разве он никогда не уезжает?

— Правда...

— Согласен?..

— Согласен, — прошептал Бер, бледный как смерть. — Когда же?

— В первый раз, как Паршан приедет сюда; он обещался пригнать десяток баранов: остальное — мое дело. Смотри же, Бер!

Вот они и сладили это дело... по правде сказать, нехорошее дело! Я после и говорил это Каремскому, да только он мне отвечал, что дикий черкешенок должен быть счастлив, имея такого милого друга, как он, потому что, по-ихнему, он все-таки его муж, а что — Паршан разбойник, которого надо было наказать. Сами посудите, что ж я мог отвечать против этого?.. Но в то время я ничего не знал об их заговоре. Вот раз приехал Паршан и спрашивает, не нужно ли баранов и меда; я велел ему привести на другой день.

— Бер! — сказал Эраст Николаевич, — завтра Карагез в моих руках; если нынче ночью Рамазана не будет здесь, то не видать тебе коня...

— Хорошо! — сказал Бер и поскакал в аул. Вечером Эраст Николаевич вооружился и выехал из крепости: как они сладили это дело, не знаю, — только ночью они оба возвратились, и часовой видел, что поперек седла Бера лежал юноша, у которого руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

— А лошадь? — спросила барыня у штабс-капитана.

— Сейчас, сейчас. На другой день утром рано приехал Паршан и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне; я попотчевал его чаем, потому что хотя разбойник он, а все-таки был моим кунаком.

Стали мы болтать о том, о сем: вдруг, смотрю, Паршан вздрогнул, переменялся в лице — и к окну; но окно, к несчастью, выходило на задворье.

— Что с тобой? — спросил я.

— Моя лошадь!.. лошадь!.. — сказал он, весь дрожа.

Точно, я услышал топот копыт: «Это, верно, какой-нибудь казак приехал...»

— Нет! Урус яман, яман! — заревел он и опрометью бросился вон, как дикий барс. В два прыжка он был уж на дворе; у ворот крепости часовой загородил ему путь ружьем; он перескочил через ружье и кинулся бежать по дороге... Вдали вилась пыль — Бер скакал на лихом Карагезе; на бегу Паршан выхватил из чехла ружье и выстрелил, с минуту он остался неподвижен, пока не убедился, что дал промах; потом завизжал, ударил ружье о камень, разбил его вдребезги, повалился на землю и зарыдал, как ребенок... Вот кругом него собрался народ из крепости — он никого не замечал; постояли, потолковали и пошли назад; я велел возле его положить деньги за баранов — он их не тронул, лежал себе ничком, как мертвый. Поверите ли, он так пролежал до поздней ночи и целую ночь?.. Только на другое утро пришел в крепость и стал просить, чтоб ему назвали похитителя. Часовой, который видел, как Бер отвязал

коня и ускакал на нем, не почел за нужное скрывать. При этом имени глаза Паршана засверкали, и он отправился в аул, где жил отец Бера и Рамазана.

— Что ж отец?

— Да в том-то и штука, что его Паршан не нашел: он куда-то уезжал дней на шесть, а то удалось ли бы Беру увезти брата?

А когда отец возвратился, то ни сыновей, ни лошадей не было. Такой хитрец: ведь смекнул, что не сносить ему головы, если б он попался. Так с тех пор и пропал: верно, пристал к какой-нибудь шайке абреков, да и сложил буйную голову за Терекom или за Кубанью: туда и дорога!..

Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Как я только проведаль, что черкешенок у Эраста Николаевича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему.

Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замок, и ключа в замке не было. Я все это тотчас заметил... Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, — только он притворялся, будто не слышит.

— Господин прапорщик! — сказал я как можно строже. — Разве вы не видите, что я к вам пришел?

— Ах, здравствуйте, Борис Сергеевич! Не хотите ли трубку? — отвечал он, не приподнимаясь.

— Извините! Я не Борис Сергеевич: я штабс-капитан.

— Все равно. Не хотите ли чаю? Если б вы знали, какая мучит меня забота!

— Я все знаю, — отвечал я, подошед к кровати.

— Тем лучше: я не в духе рассказывать.

— Господин прапорщик, вы сделали проступок, за который я могу отвечать...

— И полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно все пополам.

— Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!

— Митька, шпагу!..

Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал:

— Послушай, Эраст Николаевич, ну признайся, что нехорошо.

— Что нехорошо?

— Да то, что ты увез Рамазана ... Уж эта мне бестия Бер!.. Ну, признайся, — сказал я ему.

— Да когда он мне нравится?..

Ну, что прикажете отвечать на это?.. Я стал в тупик. Однако ж после некоторого молчания я ему сказал, что если отец станет его требовать, то надо будет отдать.

— Вовсе не надо!

— Да он узнает, что он здесь?

— А как он узнает?

Я опять стал в тупик.

— Послушайте, Борис Сергеевич! — сказал Печорин, приподнявшись, — ведь вы добрый человек, — а если отдадим сына этому дикарю, он его зарежет или продаст. Дело сделано, не надо только охотою портить; оставьте его у меня, а у себя мою шпагу...

— Да покажите мне его, — сказал я.

— Он за этой дверью; только я сам нынче напрасно хотел его видеть; сидит в углу, закутавшись в покрывало, не говорит и не смотрит: пуглив, как дикая серна. Я нанял нашу духанщицу: она знает по-татарски, будет ходить за ним и приучит его к мысли, что он мой, потому что он никому не будет принадлежать, кроме меня, — прибавил он, ударив кулаком по столу. Я и в этом согласился... Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно согласиться.

— А что? — спросила вновь барыня у Бориса Сергеевича, — в самом ли деле он приучил его к себе, или он зачах в неволе, с тоски по родине?

— Помилуйте, отчего же с тоски по родине. Из крепости видны были те же горы, что из аула, — а этим дикарям больше ничего

не надобно. Да притом Эраст Николаевич каждый день дарил ему что-нибудь: первые дни он молча гордо отталкивал подарки, которые тогда доставались духанщице и возбуждали ее красноречие. Ах, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпичку!.. Ну, да это в сторону... Долго бился с ним Эраст Николаевич; между тем учился по-татарски, и он начинал понимать по-нашему. Мало-помалу он приучился на него смотреть, сначала исподлобья, искоса, и все грустил, напевал свои песни вполголоса, так что, бывало, и мне становилось грустно, когда слушал его из соседней комнаты. Никогда не забуду одной сцены, шел я мимо и заглянул в окно; Рамазан сидел на кровати, повесив голову на грудь, а Каремской стоял перед ним.

— Послушай, мой пери, — говорил он, — ведь ты знаешь, что рано или поздно ты должен быть моим, — отчего же только мучишь меня? Разве ты любишь какого-нибудь чеченца? Если так, то я тебя сейчас отпущу домой. — Рамазан вздрогнул едва заметно и покачал головой. — Или, — продолжал Каремской, — я тебе совершенно ненавистен? — Он вздохнул. — Или твоя вера запрещает полюбить меня? — Мальчик побледнел и молчал. — Поверь мне, аллах для всех племен один и тот же, и если он мне позволяет любить тебя, отчего же запретит тебе платить мне взаимностью? — Рамазан посмотрел ему пристально в лицо, как будто пораженный этой новой мыслью; в глазах его выразились недоверчивость и желание убедиться. Что за глаза! они так и сверкали, будто два угля. — Послушай, милый мой, добрый Рамазан! — продолжал Эраст Николаевич, — ты видишь, как я тебя люблю; я все готов отдать, чтоб тебя развеселить: я хочу, чтоб ты был счастлив; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселей?

Он призадумался, не спуская с него черных глаз своих, потом улыбнулся ласково и кивнул головой в знак согласия.

Каремской взял его руку и стал его уговаривать, чтоб он его целовал; он слабо защищался и только повторял: «Поджалуста, поджалуйста, не нада, не нада». Каремской стал настаивать; он задрожал, заплакал.

— Я твой пленник. — говорил он, — твой раб; конечно ты можешь меня принудить, — и опять слезы.

Эраст Николаевич ударил себя в лоб кулаком и выскочил в другую комнату. Я зашел к нему; он сложа руки прохаживался угрюмый взад и вперед.

— Что, батюшка? — сказал я ему.

— Дьявол, а не юнец! — отвечал он, — только я вам даю мое честное слово, что он будет мой...

Я покачал головою.

— Хотите пари? — сказал он, — через неделю!

— Извольте!

Мы ударили по рукам и разошлись.

На другой день он тотчас же отправил нарочного в Кизляр за разными покупками; привезено было множество разных персидских материй, всех не перечесть.

— Как вы думаете, Борис Сергеевич! — сказал он мне, показывая подарки, — устоит ли азиатский красавец против такой батареи?

— Вы черкешат не знаете, — отвечал я, — это совсем не то, что грузины или закавказские татары, совсем не то. У них свои правила: они иначе воспитаны. — Эраст Николаевич улыбнулся и стал насвистывать марш.

А ведь вышло, что я был прав: подарки подействовали только вполовину; он стал ласковее, доверчивее — да и только; так что Эраст решился на последнее средство. Раз утром он велел оседлать лошадь, оделся по-черкесски, вооружился и вошел к нему. «Рамазан! — сказал он, — ты знаешь, как я тебя люблю. Я решился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся: прощай! оставайся полным хозяином всего, что я имею; если хочешь, вернись к отцу, — ты свободен. Я виноват перед тобой и должен наказать себя; прощай, я еду — куда? почему я знаю? Авось недолго буду гоняться за пулей или ударом шашки; тогда вспомни обо мне и прости меня». — Он отвернулся и протянул ему руку на прощание. Он не взял руки, молчал. Только стоя за дверью, я мог в щель рассмотреть его лицо: и мне стало жаль — такая смертельная бледность покрыла это милое личико! Не слыша ответа, Каремской сделал несколько шагов к двери; он дрожал — и сказать ли вам? я думаю, он в состоянии был исполнить в самом деле то, о чем говорил шутя. Таков уж был человек, бог его знает! Только едва он коснулся двери, как Рамазан вскочил, зарыдал и бросился ему на шею. Поверите ли? я, стоя за дверью, также заплакал, то есть, знаете, не то чтобы заплакал, а так — глупость!..

Одно утро захожу к ним — как теперь перед глазами: Рамазан сидит на кровати в черном шелковом бешмете, бледный, такой печальный, что я испугался.

— А где Каремской? — спросил я.

— На охоте.

— Сегодня ушел? — Он молчал, как будто ему трудно было выговорить.

— Нет, еще вчера, — наконец сказал он, тяжело вздохнув.

— Уж не случилось ли с ним чего?

— Я вчера целый день думал, — отвечал он сквозь слезы, — придумывал разные несчастья: то казалось мне, что его ранил дикий кабан, то чеченец утащил в горы... А нынче мне уж кажется, что он меня не любит.

— Право, милый мой, ты хуже ничего не мог придумать! — Он заплакал, потом с гордостью поднял голову, отер слезы и продолжал:

— Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это так будет продолжаться, то я сам уйду: я не раб его — я княжеский сын!..

Я стал его уговаривать.

— Послушай, Рамазанушка, ведь нельзя же ему век сидеть здесь как пришитому к твоей штанине: он человек молодой,

любит погоняться за дичью, — походит, да и придет; а если ты будешь грустить, то скорей ему наскучишь.

— Правда, правда! — отвечал он, — я буду весел. — И с хохотом схватил свой бубен, начал петь, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно; он опять упал на постель и закрыл лицо руками.

Что было с ним мне делать? Я, знаете, никогда с юношами да девушками не обращался: думал, думал, чем его утешить, и ничего не придумал; несколько времени мы оба молчали... Пренеприятное положение-с!

Наконец я ему сказал: «Хочешь, пойдем прогуляться на вал? погода славная!» Это было в сентябре; и точно, день был чудесный, светлый и не жаркий; все горы видны были как на блюдечке. Мы пошли, походили по крепостному валу взад и вперед, молча; наконец он сел на дерн, и я сел возле него. Ну, право, вспомнить смешно: я бегал за ним, точно какая-нибудь нянька.

Крепость наша стояла на высоком месте, и вид был с вала прекрасный; с одной стороны широкая поляна, изрытая несколькими балками, оканчивалась лесом, который тянулся до самого хребта гор; кое-где на ней дымились аулы, ходили табуны; с другой — бежала мелкая речка, и к ней примыкал частый кустарник, покрывавший кремнистые возвышенности, которые соединялись с главной цепью Кавказа. Мы сидели на углу бастиона, так что в обе стороны могли видеть все. Вот смотрю: из леса выезжает кто-то на серой лошади, все ближе и ближе и, наконец, остановился по ту сторону речки, саженьях во

сте от нас, и начал кружить лошадь свою как бешеный. Что за притча!..

— Посмотри-ка, Рамазанушка, — сказал я, — у тебя глаза молодые, что это за джигит: кого это он приехал тешить?..

Он взглянул и вскрикнул:

— Это Паршан!..

— Ах он разбойник! смеяться, что ли, приехал над нами? — Всматриваюсь, точно Паршан: его бледная рожа, оборванный, грязный как всегда.

— Это лошадь отца моего, — сказал Рамазан, схватив меня за руку; он дрожал, как лист, и глаза его сверкали. «Ага! — подумал я, — и в тебе, душенька, не молчит разбойничья кровь!»

— Подойди-ка сюда, — сказал я часовому, — осмотри ружье да ссади мне этого молодца, — получишь рубль серебром.

— Слушаю, ваше высокоблагородие; только он не стоит на месте... — Прикажи! — сказал я, смеясь...

— Эй, любезный! — закричал часовой, махая ему рукой, — подожди маленько, что ты крутишься, как волчок?

Паршан остановился в самом деле и стал вслушиваться: верно, думал, что с ним заводят переговоры, — как не так!.. Мой гренадер приложился... бац!.. мимо, — только что порох на полке вспыхнул; Паршан толкнул лошадь, и она дала скачок в

сторону. Он привстал на стременах, крикнул что-то по-своему, пригрозил нагайкой — и был таков.

— Как тебе не стыдно! — сказал я часовому.

— Ваше высокоблагородие! умирать отправился, — отвечал он, такой проклятый народ, сразу не убьешь.

Четверть часа спустя Каремской вернулся с охоты; Рамазан бросился ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствие... Даже я уж на него рассердился.

— Помилуйте, — говорил я, — ведь вот сейчас тут был за речкою Паршан гадёныш, и мы по нем стреляли; ну, долго ли вам на него наткнуться? Эти горцы народ мстительный: вы думаете, что он не догадывается, что вы частью помогли Беру? А я бьюсь об заклад, что нынче он узнал Рамазана. Я знаю, что год тому назад он ему больно нравился — он мне сам говорил, — и если б надеялся собрать порядочный калым, то, верно, бы посватался...

Тут Каремской задумался. «Да, — отвечал он, — надо быть осторожнее... Рамазан, с нынешнего дня ты не должен более ходить на крепостной вал».

Вечером я имел с ним длинное объяснение: мне было досадно, что он переменялся к этому бедному мальчику; кроме того, что он половину дня проводил на охоте, его обращение стало холодно, ласкал он его редко, и он заметно начинал сохнуть, личико его вытянулось, большие глаза потускнели. Бывало, спросишь:

«О чем ты вздохнул, Рамазанушка? ты печален?» — «Нет!» — «Тебе чего-нибудь хочется?» — «Нет!» — «Ты тоскуешь по родным?» — «У меня нет родных». Случалось, по целым дням, кроме «да» да «нет», от него ничего больше не добьешься.

Вот об этом то я и стал ему говорить: «Послушай, Боря, — отвечал он — Я опять ошибся: любовь необузданного дикаря немногим лучше любви знатного барина; невежество и простосердечие одного так же надоедают как и кокетство другого. Если хочешь, я его ещё люблю, я ему благодарен за несколько минут довольно сладких, я за него жизнь отдам — только мне с ним скучно... Когда я только увидел его в своём доме, когда в первый раз, держа его на коленях, целовал его чёрные локоны, я, глупец, подумал что он ангел, посланный мне судьбой, но нет. Любовь снова меня обманула.»

— Какой кошмар.... — выдохнула барыня — А что же несчастный Рамазан?

Между тем Борис Сергеевич продолжал свой рассказ таким образом:

— Паршан не являлся снова. Только не знаю почему, я не мог выбить из головы мысль, что он недаром приезжал и затевает что-нибудь худое.

Вот раз уговаривает меня Каремской ехать с ним на кабана; я долго отнекивался: ну, что мне был за диковинка кабан! Однако ж утащил-таки он меня с собой. Мы взяли человек пять солдат и уехали рано утром. До десяти часов шныряли по камышам и по лесу, — нет зверя. «Эй, не воротиться ли? — говорил я, — к чему упрячиться? Уж, видно, такой задался несчастный день!»

Только Эраст Николаевич, несмотря на зной и усталость, не хотел воротиться без добычи, таков уж был человек: что задумает, подавай; видно, в детстве был маменькой избалован... Наконец в полдень отыскали проклятого кабана: паф! паф!... не тут-то было: ушел в камыши... такой уж был несчастный день! Вот мы, отдохнув маленько, отправились домой.

Мы ехали рядом, молча, распустив поводья, и были уж почти у самой крепости: только кустарник закрывал ее от нас. Вдруг выстрел... Мы взглянули друг на друга: нас поразило одинаковое подозрение... Опрометью поскакали мы на выстрел — смотрим: на валу солдаты собрались в кучу и указывают в поле, а там летит стремглав всадник и держит что-то белое на седле. Эраст Николаевич взвизгнул не хуже любого чеченца; ружье из чехла — и туда; я за ним.

К счастью, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались из-под седла, и с каждым мгновением мы были все ближе и ближе... И наконец я узнал Паршана, только не мог разобрать, что такое он держал перед собою. Я тогда поравнялся с Каремским и кричу ему: «Это Паршан!..» Он посмотрел на меня, кивнул головою и ударил коня плетью.

Вот наконец мы были уж от него на ружейный выстрел; измучена ли была у Паршана лошадь или хуже наших, только, несмотря на все его старания, она не больно подавалась вперед. Я думаю, в эту минуту он вспомнил своего Карагеца...

Смотрю: Каремской на скаку приложился из ружья... «Не стреляйте! — кричу я ему, — берегите заряд; мы и так его догоним». Уж эта молодежь! вечно некстати горячится... Но выстрел раздался, и пуля перебила заднюю ногу лошади: она

сгоряча сделала еще прыжков десять, споткнулась и упала на колени; Паршан соскочил, и тогда мы увидели, что он держал на руках своих юношу, окутанного чадрую... Это был Рамазан... бедный! Он что-то нам закричал по-своему и занес над ним кинжал... Медлить было нечего: я выстрелил, в свою очередь, наудачу; верно, пуля попала ему в плечо, потому что вдруг он опустил руку... Когда дым рассеялся, на земле лежала раненая лошадь и возле нее Рамазан; а Паршан, бросив ружье, по кустарникам, точно кошка, карабкался на утес; хотелось мне его снять оттуда — да не было заряда готового! Мы соскочили с лошадей и кинулись к Рамазану. Бедняжка, он лежал неподвижно, и кровь лилась из раны ручьями... Такой злодей; хоть бы в сердце ударил — ну, так уж и быть, одним разом все бы кончил, а то в спину... самый разбойничий удар! Он был без памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану как можно туже; напрасно Каремской целовал его холодные губы — ничто не могло привести его в себя.

Каремской сел верхом; я поднял его с земли и кое-как посадил к нему на седло; он обхватил его рукой, и мы поехали назад. После нескольких минут молчания Эраст Николаевич сказал мне: «Послушайте, Борис Сергеевич, мы этак его не довезем живого». — «Правда!» — сказал я, и мы пустили лошадей во весь дух. Нас у ворот крепости ожидала толпа народа; осторожно перенесли мы раненого к Каремскому и послали за лекарем. Он был хотя пьян, но пришел: осмотрел рану и объявил, что он больше дня жить не может; только он ошибся...

— Выздоровел? — спросила барыня у штабс-капитана, схватив его за руку и невольно обрадовавшись.

— Нет, — отвечал он, — а ошибся лекарь тем, что он еще два дня прожил.

— Да объясните мне, каким образом ее похитил Паршан?

— А вот как: несмотря на запрещение Каремского, он вышел из крепости к речке. Было, знаете, очень жарко; он сел на камень и опустил ноги в воду. Вот Паршан подкрался, — цап-царап его, зажал рот и потащил в кусты, а там вскочил на коня, да и тягу! Он между тем успел закричать, часовые всполошились, выстрелили, да мимо, а мы тут и подоспели.

— Да зачем Паршан его хотел увезти?

— Помилуйте, да эти черкесы известный воровской народ: что плохо лежит, не могут не стянуть; другое и не нужно, а все украдет... уж в этом прошу их извинить! Да притом он ему давно-таки нравился.

— И Рамазан умер?

— Умер; только долго мучился, и мы уж с ним измучились порядком. Около десяти часов вечера он пришёл в себя; мы сидели у постели; только что он открыл глаза, начал звать Каремского. — «Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька)», — отвечал он, взяв его за руку. «Я умру!» — сказал он. Мы начали его утешать, говорили, что лекарь обещал ее вылечить непременно; он покачал головой и отвернулся к стене: ему не хотелось умирать!..

Ночью он начал бредить; голова его горела, по всему телу иногда пробегала дрожь лихорадки; он говорил несвязные речи

об отце, брате: ему хотелось в горы, домой... Потом он также говорил о Кармеском, давал ему разные нежные названия или упрекал его в том, что он разлюбил свою джанечку...

Он слушал его молча, опустив голову на руки; но только я во все время не заметил ни одной слезы на ресницах его: в самом ли деле он не мог плакать, или владел собою — не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не видывал.

К утру бред прошел; с час он лежал неподвижный, бледный, и в такой слабости, что едва можно было заметить, что он дышит; потом ему стало лучше, и он начал говорить, только как вы думаете о чем?.. Этакая мысль придет ведь только умирающему!.. Начал печалиться о том, что он не христианин, и что на том свете душа его никогда не встретится с душою Эраста Николаевича, и что иной юноша будет в раю его другом. Мне пришло на мысль окрестить его перед смертью; я ему это предложил; он посмотрел на меня в нерешимости и долго не мог слова вымолвить; наконец отвечал, что он умрет в той вере, в какой родился. Так прошел целый день. Как он переменялся в этот день! бледные щеки впали, глаза сделались большие, губы горели. Он чувствовал внутренний жар, как будто в груди у него лежала раскаленное железо.

Настала другая ночь; мы не смыкали глаз, не отходили от его постели. Он ужасно мучился, стонал, и только что боль начинала утихать, он старался уверить Эраста, что ему лучше, уговаривал его идти спать, целовал его руку, не выпускал ее из своих. Перед утром стал он чувствовать тоску смерти, начал метаться, сбил перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, он на минуту успокоился и начал просить Каремского, чтоб он его поцеловал. Он стал на колени возле

кровати, приподнял его голову с подушки и прижал свои губы к его холодеющим губам; он крепко обвил его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотел передать ему свою душу... Нет, он хорошо сделал, что умер: ну, что бы с ним случилось, если б Эраст Николаевич ее покинул? А это бы случилось, рано или поздно...

Половину следующего дня он был тих, молчалив и послушен, как ни мучил его наш лекарь припарками и микстурой. «Помилуйте, — говорил я ему, — ведь вы сами сказали, что он умрет непременно, так зачем тут все ваши препараты?» — «Все-таки лучше, Борис Сергеевич, — отвечал он, — чтоб совесть была покойна». Хороша совесть!

После полудня он начал томиться жаждой. Мы отворили окна — но на дворе было жарче, чем в комнате; поставили льду около кровати — ничего не помогало. Я знал, что эта невыносимая жажда — признак приближения конца, и сказал это Каремскому. «Воды, воды!..» — говорил он хриплым голосом, приподнявшись с постели.

Эраст сделался бледен как полотно, схватил стакан, налил и подал ему. Я закрыл глаза руками и стал читать молитву, не помню какую... Да, батюшка, видал я много, как люди умирают в гошпиталях и на поле сражения, только это все не то, совсем не то!.. Еще, признаться, меня вот что печалит: он перед смертью ни разу не вспомнил обо мне; а кажется, я его любил как отец... ну да бог его простит!.. И вправду молвить: что ж я такое, чтоб обо мне вспоминать перед смертью?

Только что он испил воды, как ему стало легче, а минуты через три он скончался. Приложили зеркало к губам — гладко!.. Я

вывел Каремского вон из комнаты, и мы пошли на крепостной вал; долго мы ходили взад и вперед рядом, не говоря ни слова, загнув руки на спину; его лицо ничего не выражало особенного, и мне стало досадно: я бы на его месте умер с горя. Наконец он сел на землю, в тени, и начал что-то чертить палочкой на песке. Я, знаете, больше для приличия хотел утешить его, начал говорить; он поднял голову и засмеялся... У меня мороз пробежал по коже от этого смеха... Я пошел заказывать гроб.

Признаться, я частью для развлечения занялся этим. У меня был кусок термаламы, я обил ею гроб и украсил его черкесскими серебряными галунами, которых Эраст Николаевич накупил для него же.

На другой день рано утром мы его похоронили за крепостью, у речки, возле того места, где он в последний раз сидел; кругом его могилки теперь разрослись кусты белой акации и бузины. Я хотел было поставить крест, да, знаете, неловко: все-таки он был не христианин...

— А что Каремской? — спросила барыня.

— Каремской был долго нездоров, исхудал, бедняжка; только никогда с этих пор мы не говорили о Рамазане: я видел, что ему будет неприятно, так зачем же? Месяца три спустя его назначили в N полк, и он уехал в Грузию. Мы с тех пор не встречались, да помнится, кто-то недавно мне говорил, что он возвратился в Россию, но в приказах по корпусу не было. Впрочем, до нашего брата вести поздно доходят.

Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже — вероятно, для того, чтоб заглушить печальные воспоминания.

Барыня не перебивала его и не слушала.